

Из книги «На берегах Сены»

* * *

Париж. Лето 1938 года. Послезавтра мы с Георгием Ивановым едем в Биарриц на целых три месяца. К океану. И я уже полна легким радостным волнением.

Сегодня я целый день бегала по магазинам. Я очень устала. И все-таки мне не хочется оставаться дома и провести вечер, читая или слушая радио.

— Пойдем куда-нибудь, Жорж!

Георгий Иванов, как всегда, согласен. Только куда пойти? Все наши друзья и знакомые уже разъехались. Даже на Монпарнасе никого не встретишь.

— Хочешь, пойдем в кинематограф?

— Нет, решительно не хочу. Я сейчас совсем не в состоянии неподвижно сидеть перед экраном.

— А Гингеры? — вдруг вспоминает он. — Они ведь еще в Париже. Сегодня четверг, по четвергам у них «Свидание поэтов». Хочешь, пойдем к ним? Мы бесконечно давно у них не бывали. Они будут очень, очень довольны.

— Больше чем довольны — в восторге. И Гингер, и Присманова — оба, — они так тебя любят. Едем. Но непременно в такси, а не в метро. Туда и обратно в такси. Я страшно устала.

И мы едем.

Дверь нам открывает сам Гингер. Но, к моему удивлению, он не только не выражает восторга от неожиданного появления Георгия Иванова, а скорее смущен и растерян, хотя и старается скрыть это.

— Вот уже кого никак не ждал. Великолепно, чудесно. Спасибо, — отрывчато произносит он, неловко топчась перед нами, укладывая наши шляпы на комод в прихожей, как будто желая задержать нас подольше. И вдруг будто решаешь:

— А у нас Марина Ивановна. Пришла проститься перед своим отъездом в Москву.

Ах, вот в чем дело — Марина Цветаева здесь. Она терпеть не может ни Георгия Иванова, ни Адамовича, ни меня, считая нас петербургскими снобами-эстетам.

Особенно Георгия Иванова с тех пор, как он — по ошибке — в своих «Петербургских зимах» приписал стихотворение Мандельштама «Как скоро ты смуглянкой стала», посвященное ей, какой-то «хорошенькой, вульгарной зубоврачихе».

Но о романе Цветаевой и Мандельштама никто в Петербурге не слышал. Сам Мандельштам никогда в разговоре не упоминал ее имени, а о хорошенькой «зубоврачихе», вставившей ему искусственные зубы в кредит, вспоминал с удовольствием довольно часто.

Марина Цветаева сочла себя обобранной, решила огласить свои права на это стихотворение в прессе, в фельетоне, написанном ею для «Последних новостей». Но Милюков не пожелал напечатать его, что глубоко возмутило ее и еще больше восстановило против Георгия Иванова.

Совершенно понятно, что наше неурочное появление обеспокоило бедного Гингера. Ему казалось, что оно может испортить его «последний вечер с Цветаевой».

Впрочем, страх его был неосновательным. Нам нередко приходилось встречаться с Мариной Цветаевой на литературных вечерах и в гостях у «меценатов». Иногда мы даже обменивались несколькими, ничего не значащими словами, хотя она всегда старательно избегала нас, как и мы ее.

Но сейчас пути к отступлению были отрезаны. Гингер вводит нас в комнату, где за столом перед листом бумаги сидит Марина Цветаева. Тут же Софиев, Корвин-Пиотровский, Закович и еще несколько так называемых молодых поэтов.

Присманова кидается нам навстречу. Ей и в голову не приходит, что из-за нас может произойти какое-нибудь недоразумение. Она вообще вряд ли знает о взаимоотношениях своих друзей и знакомых. Это ее не интересует. Она выше всего этого, постоянно витая в заоблачных сферах поэзии.

Георгий Иванов спешно здоровается с ней.

Марина Цветаева смотрит на нас, прищурившись. Она очень близорука, но, казалось бы, из совсем не свойственного ей кокетства — не носит очков.

Наше появление ей явно неприятно. Она гордо выпрямляется и как-то вся ошетиливается, становясь — по своему собственному определению — тем «камчатским медведем без льдины», которого я привыкла видеть в гостях у «меценатов», где она всегда как будто готова принять бой. И сейчас она тоже как будто готовится к бою.

Но Георгий Иванов быстро подходит к ней и целует ее руку, которую она с некоторой задержкой подает ему.

— Марина Ивановна! Как я рад! Я боялся, что мне не удастся проститься с вами перед вашим отъездом.

— Рады? — холодно переспросила она, — вот не ожидала.

— Страшно рад! — горячо подтверждает он, — ведь мы вряд ли скоро увидимся.

— Никогда больше не увидимся. Никогда, — так же холодно отрезает она. И уже мне, чуть потеплевшим голосом: — А вы, скажите, тоже рады?

— Ужасно рада! — совершенно искренне говорю я.

Она пожимает плечами.

— Просто чудеса в решете. Что ж? Я почти готова поверить. А ведь меня теперь большинство прежних знакомых на улице не узнает; не кланяются мне, отворачиваются от меня.

— Мерзавцы! — отчеканивает Гингер. — Повесить бы их всех, буржуев и богачей.

— А мы, — перебивает его Закович, обращаясь к Георгию Иванову, — как раз одному такому буржую, по инициативе Марины Ивановны, сочиняем коллективную просьбу дать деньги на каникулы N. N.

N. N. — милая молодая писательница, только что перенесшая тяжелую болезнь. Ей действительно необходимо отдохнуть где-нибудь в горах или у моря. И мы с Георгием Ивановым с полной готовностью включаемся в «коллективную работу». Ею руководит Марина Цветаева.

— Софиев, прочтите-ка, что мы написали начерно.

Софиев читает:

— Глубокоуважаемый и дорогой...

— Не дорогой, а милый, — поправляет она, — милый — чувствительней, — буржуй ведь сентиментален. Дальше? Софиев продолжает:

— Мы, зная ваше золотое сердце и то, что вы всегда оказываете щедрую помощь...

— Золотое сердце — это хорошо, — прерывает чтение Марина Цветаева. — Польсти, польсти! Зальем его лестью, пусть захлебнется в ней — авось раскошелится.

— Не беспокойтесь, Марина Ивановна, раскошелится. Мы его как лягушку на эту бумажку поймаем, — и Георгий Иванов указывает на исписанный лист. — Если бы кто-нибудь из нас с глазу на глаз его просил — безусловно отказал бы, но ведь тут гласность, общественность — не отвертится.

Текст бумажки, на которую, как лягушку, поймают скупца-богача, обсуждается фраза за фразой и трижды переделывается. Георгий Иванов острит, как всегда, и смешит всех. Я не думала, что Марина Цветаева может так звонко и весело смеяться. Я никогда не видала ее такой оживленной и дружелюбной. И я вполне очарована ею.

Наконец «бумажка» готова и красиво и четко переписана.

— Теперь подписи. Первым вы, Георгий Владимирович. Очень красиво с росчерком. Ведь вы любимец «Современных записок», не то что я. Мне в них ходу не давали, ни моим стихам, ни прозе. Сколько раз возвращали...

Наконец и с подписями покончено, и даже адрес на конверте каллиграфически выведен.

Марина Цветаева смотрит на часы, висящие на стене.

— Господи! Половина двенадцатого, а Мур еще не ужинал, и завтра мне надо встать в половине шестого!

— Зато, — сентенциозно заявляет Пиотровский, — благодаря вам N. N. сможет отдохнуть на берегу моря. Вы совершили доброе дело, Марина Ивановна.

Все шумно и весело прощаются с Присмановой и Гингером. Они оба сияют — такого удачного «свидания поэтов» у них еще не было.

Мы выходим гурьбой на пустынную спящую улицу, залитую лунным светом.

— Проводим Марину Ивановну до метро. Тут все равно такси не найти, — предлагает мне Георгий Иванов.

Мы идем к метро попарно. Впереди Марина Цветаева со мной, остальные — немного отстав от нас.

Она торопится, быстро и легко широко шагает, недовольно морщась.

— Как далеко они живут от метро.

Да, далеко, но я хотела бы, чтобы еще гораздо дальше, чтобы я могла еще долго идти с ней так рядом плечо к плечу.

— С вами удобно ходить. Вы хорошо держите шаг. А мне казалось, что вы на своих высоких каблучках должны ходить неровно, с прискоком, по-дамски. По походке узнаешь человека не меньше, чем по рукопожатию, — говорит она убежденно.

— Марина Ивановна, вы рады, что возвращаетесь в Россию? — задаю я ей вопрос, преследовавший меня весь вечер. — Очень рады?

Она качает головой.

— Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство. Туда бы я хотела — там такие широкие площади и старинные готические здания. А в России все теперь чужое. И враждебное мне. Даже люди. Я всем там чужая.

Она вздыхает и замедляет шаг.

— Все же я довольна, что покидаю Париж. Я его изжила. Его больше не существует для меня. Сколько горя, сколько обид я в нем перенесла. Нигде я не была так несчастна. А когда-то в Праге — там я очень скучала — я мечтала, как хорошо будет в Париже. А в Париже Прага стала казаться мне чуть ли не потерянным раем. А теперь я еду в Москву. Сыну там будет лучше. Но мне?.. Выперла меня эмиграция.

Она снова вздыхает.

Луна ярко светит. Слишком ярко. В ее свете мне все начинает казаться нереальным. Меня охватывает странное ощущение. Я как будто теряю чувство времени и места. Разве это Париж и лето 1938 года?

И вдруг я, как сквозь сон, вспоминаю, что когда-то совсем такой же теплой, летней, лунной ночью я много лет тому назад шла рядом с Анной Ахматовой по пустым, спящим улицам Петербурга — в первый и в последний раз в жизни... Совсем так, как сейчас иду с Мариной Цветаевой. Да, совсем так — в первый и последний раз в жизни.

Но тогда уезжала не Ахматова, а я — уезжала, полная радостных надежд. А теперь уезжаю не я, а Марина Цветаева, уезжает в безнадежной бездонной тоске.

Я смотрю на ее бледное, усталое, грустное лицо.

У меня сжимается сердце. Мне ее мучительно жаль. И страшно за нее. Нет, нет — ей нельзя ехать туда! Там ее ждет гибель. Там она погибнет, как погиб Мандельштам. И сколько других.

Мне хочется крикнуть ей: «Не уезжайте! Вам нельзя ехать». Но я не решаюсь. И она все равно не послушается меня. Даже если я стану перед ней на колени и буду умолять ее.

Я совершенно беспомощна. Я ничем не могу помочь ей. Но если бы я могла хоть немного утешить ее. И я говорю:

— Марина Ивановна, я хочу, чтобы вы знали, что я всегда страшно любила ваши стихи. Еще в Петербурге Гумилев мне подарил ваш «Вечерний альбом», и я просто бредила им. Он читал мне наизусть ваши чудные стихи Блоку и Ахматовой. Он восхищался ими.

— Правда? — недоверчиво спрашивает она. — Неужели правда? Я почему-то думала, что Гумилев был против меня. И вы все тоже. Цеховая выучка. Отсюда и преследование меня Адамовичем. Хорошо, что вы сказали. — Она слабо улыбается, и лицо ее молодеет. — Мне приятно, что Гумилев любил мои стихи.

И вот уже вход в метро, и надо расставаться. Мне так грустно, что я еле удерживаю слезы.

— А вы совсем другая, чем мне казались. Очень жаль. Значит, еще одной несостоявшейся встречей больше. Сколько их было в моей жизни, этих несостоявшихся встреч! И вот еще одна.

Она протягивает мне руку.

— Прощайте. Прощайте навсегда. Будьте счастливы. А мне ни счастья, ни счастливого пути не желайте. Ни к чему это мне.

К нам подходят догнавшие нас Георгий Иванов и Пиотровский. Она прощается с Георгием Ивановым. Он несколько раз подряд целует ей руку. Ее серебряные кольца тускло поблескивают.

Я смотрю на нее, стараясь как можно лучше и точнее запомнить ее — всю, во всех подробностях, навсегда сохранить ее в памяти такой, какой я вижу ее сейчас. Ведь я никогда больше не увижу ее. Никогда.

Последние рукопожатия.

— Так не забывайте о нашей несостоявшейся встрече. — Она грустно улыбается. — И меня не забывайте.

Мне хочется ее перекрестить, но я не решаюсь.

И вот она уже спускается по лестнице рядом с Пиотровским. Я смотрю ей вслед. Но она не оборачивается.

И вот ее уже не видно...

Марина Цветаева — наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу.

Зинаида Шаховская в своих «Отражениях» приводит слова Марины Цветаевой, произнесенные ею при их последней встрече со вздохом: «Некуда податься — выживает меня эмиграция».

Она была права — эмиграция действительно «выжила» ее, нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом — к ней.

Мы не сумели ее оценить, не полюбили, не удержали от губительного возвращения в Москву. Не только не удержали, но даже скорее толкнули ее на этот пагубный шаг.

Я хотела бы хоть отчасти искупить свой грех.

В том, что Марина Цветаева — прекрасный стилист, теперь согласны все. Не только прекрасный, но, по всей вероятности, лучший стилист нашего времени — лучше Бунина, Белого, Сологуба, Мандельштама.

Особенно хорош ее «Дом у старого Пимена», перепечатанный в «Неизданном» Марины Цветаевой. Этот «Дом у старого Пимена» появился впервые — после каких унижительных хлопот и обидных задержек — в «Современных записках» в 1937 году и очаровал даже скептически относящегося к Марине Цветаевой Адамовича, посвятившего ему целый чрезвычайно хвалебный отзыв в «Последних новостях», вызвавший негодование Милюкова — нашли тоже кого хвалить. А хвалить — и еще как! — ее следовало за ее чудесные воспоминания о Волошине, о Белом, о собственном детстве, за ее несравненное, присущее только ей умение писать «по-цветаевски», т. е. превращать людей и события в мифы и легенды.

«Повесть о Сонечке» написана также не без мифотворчества, и от нее, как от всего, вышедшего из-под пера Цветаевой, оторваться нельзя.

И все же ее — в некотором смысле — я не решаюсь назвать удачей. В ней Марина Цветаева не достигла поставленной себе цели — прославить молодую актрису Сонечку Голидей и заставить читателя безмерно восхититься ею. Она обращается к ней:

«Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились — все мужчины, изревновались к тебе — все жены, исстрадались по тебе — все поэты...»

Этого при напечатании первой части «Повести о Сонечке» в 1938 году в «Русских записках» явно не произошло. В Сонечку тогда, насколько мне известно, никто и не подумал влюбляться, ни один поэт не «исстрадался» по ней. Повесть о ней прошла почти незамеченной.

Своего впечатления о ней, о тогдашнем первом появлении ее, я, к удивлению своему, не помню. Вернее всего, я ее просто не читала.

Теперь же — сознаюсь — Сонечка мне не очень нравится, и я была бы почти равнодушна к повести о ней, — если бы в ней, как в магическом «влюбленном зеркале», сродни зеркалу Кокто, не отражалась бы необычайно ясно, точно и отчетливо сама молодая Марина Цветаева — совсем непохожая на ту, — безысходно несчастную, обреченную — знакомую нам, — на того «камчатского медведя без льдины», в которого ее превратили годы скитаний, обид и горя. А молодая, торжествующая, победоносная, счастливая, окруженная тройным кольцом влюбленности, поклонения и обожания, принимающая это как должное, — как по праву принадлежащее ей, без ложной скромности, с чудесной, высокой искренностью и силой, она восстанавливает себя, ту — молодую, счастливую и живую.

Благодаря этому «Повесть о Сонечке» не только не неудача, а напротив — блестящая победа — над временем и даже над смертью. В ней живет, продолжает жить молодая Марина Цветаева.

Действие в «Повести о Сонечке» почти отсутствует, что сознает и сама Марина Цветаева, — перечисляя в конце ее действующих лиц и их дальнейшую судьбу, она поясняет:

«Я сказала: «действующие лица». По существу же, действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала — лицами».

Прибавлю от себя — была Марина Цветаева и была любовь — сверх-, ультраромантическая, просто чудовищная любовь. «Чудовищная», как мы когда-то говорили на берегах Невы, уверенные, что в слове «чудовищное» всегда, кроме чудовища, присутствует и чудо.

Действительно была «чудо-вищная любовь». Вернее, чудо любви, объектом которого, сама превратившись в чудо, была Марина Цветаева.

Ведь надо помнить — все это происходит в Москве в 1919 году, а он был, как она называет его, «самый чумной, самый черный, самый смертный из всех годов Москвы». Ей, хотя она ни разу не напоминает об этом, не может не житься «черно, чумно и смертно». Она одна — муж ушел воевать против красных, одна с двумя маленькими дочками Алей и Ириной. И все же она умудряется быть счастливой. Любовь, обожание и поклонение заменяют ей хлеб насущный; о нем, об его отсутствии и прочих трудностях и бедствиях ни полслова. Она героически попирает «скудные законы бытия», она не снисходит до мучений холодом и голодом, испытываемых не только ею и ее дочками. Она как будто не замечает окружающего, вознесенная, в какие-то фантастические высоты, с которых трудно разглядеть то, что творится внизу на земле. И она счастлива.

Нет, я не знала, что она все же когда-то получила в подарок от судьбы это, пусть эфемерное, счастье, что ей, чего она так страстно желала, поклонялись и молились, как божеству.

И это меня утешает.

Ее упрекали, что в своих «Юношеских стихах» она слишком восхищается собой. Но она на это имеет право, так как сама преклонялась и восхищалась другими поэтами. Вспомним ее дивные стихи Блоку и Ахматовой. Кстати, ей казалось, что Ахматова носила ее стихи с собой в сумочке, пока они не рассыпались. Но, к сожалению, этого не было. Ахматова относилась к ней чрезвычайно сдержанно и, кажется, не сумела ее оценить.

Марина Цветаева рассказывала, как она отнесла свои «Юношеские стихи» в Лито и как почти через год ей их вернули с отзывом Брюсова: «Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны».

Трудно поверить, что он действительно думал это. По всей вероятности, он просто мстил ей, так как был «очень против нее».

Стихи эти прелестны, полны подлинной юношеской свежести и непосредственности. Излишне прибавлять, что они свидетельствуют о ее огромном таланте и оригинальности.

Первое стихотворение датировано 1913 годом. И сразу — удар в сердце:

Посвящаю эти строки
Тем, кто мне устроит гроб,

И вторые — снова о смерти, о могиле:
Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли,

и еще и еще о смерти. И даже в чудесной просьбе о любви, бывшей ей нужнее воздуха, она не забывает о смерти. Меня до слез трогает одно из ее ранних стихотворений:

К вам всем (что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?!)
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно
За правду да и нет,
За то, что мне так часто слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
Послушайте! Еще меня любите
За то, что я умру.

Смерть, смерть, смерть — мысли о ней не покидают ее, но это не мешает ей страстно любить жизнь:

Быть нежной, бешеной и шумной
— Так жаждать жить! —
Очаровательной и умной,
Прелестной быть,

Нежнее всех, кто есть и были,
Не знать вины.
О возмущенье, что в могиле
Мы все равны...

Нельзя без волнения читать эти стихи, они как будто перекликаются с ее трагической гибелью и одновременно дополняют образ молодой, счастливой Марины Цветаевой из «Повести о Сонечке».

(источник — И. Одоевцева «На берегах Сены»
М., «Худ.лит.», 1989 г.)